

## ТРЕВОГА И НАДЕЖДА

*Роман Василия Белова «Все впереди»  
и его критики*

Год XXVII съезда КПСС дал целый ряд значительных произведений в прозе, о которых спорят: «Пожар» Валентина Распутина, «Карьер» Василя Быкова, «Печальный детектив» Виктора Астафьева, «Плаха» Чингиза Айтматова, «Все впереди» Василия Белова. А сколько еще незамеченных явлений, достойных серьезного внимания,— таких, как «Внутренний рынок» Виталия Маслова (1984). Наверное, и они когда-то попадут в поле зрения критики, пока всецело сосредоточенной на нескольких произведениях.

Мнения звучат разные, что внушает надежды на возможность преодоления групповщины, столь прочно обосновавшейся на страницах периодики. Вместе с тем и опасений за будущее состояние критики более чем достаточно, и в этом плане обсуждение (впрочем, слово явно не то) нового романа В. Белова — весьма показательный случай. В известной мере можно утверждать, что удивляться нет причин: ни одно из произведений писателя не было принято и понято сразу — к любому из них долго привыкали, с трудом освобождаясь от скептических предубеждений. Но такого оголтелого, бесцеремонно бездоказательного шельмования (понятно, сопровождающегося фарисейски сочувствующими оговорками) мне в критической практике за последние двадцать пять лет встречать не приходилось.

Почему так случилось, гадать не стану. Наверное, разговор о романе и его критиках сам по себе приведет к необходимым выводам.

Интересно, что едва ли не каждый из писавших о романе «Все впереди» выносил свое суждение, как истину в последней инстанции. «А может, найдется и комплиментарный критик, расхвалит роман, как то нередко бывает...», — так вот провоцирует меня Павел Уляшов, заранее наделив самым срамным по нынешним временам эпитетом. Что ж, мне не впервые писать о творчестве Василия Белова (позволю себе сослаться на статью «Самим собою оставаясь» в журнале «Наш современник», 1979, № 10, чтобы просто заявить свою последовательность), но только теперь впервые в жизни мне с огорчением подумалось о том, что я вологжанин. Ведь Уляшов прямо вменил в обязанность «сочинить дежур-

ную, этакую кисло-сладкую, мало к чему обязывающую рецензию, которую никто, кроме самого писателя, не прочтет», — тем, кто после него посмеет взяться за оценку романа, другой возможности он не оставляет. (Замечу мимоходом, Белов — не из тех авторов, для кого любимое занятие — читать дифирамбы в свой адрес). Тем не менее сейчас я собираюсь не расхваливать (не знаю такого термина ни в критике, ни в теории литературы) роман «Все впереди», а понять его.

## 1

Открывая свою рецензию «Каков же итог?...» («Лит. Россия», 1986, 5 дек.), П. Ульяшов признается сам, что «чем дальше читал роман «Все впереди», тем больше недоумевал: да В. Белов ли это?» И по прочтении мнение не изменилось, только освободилось от недоумений и обрело категоричность: «Есть ли какие-либо удачи в романе? Думаю, размышляю, вспоминаю еще раз ситуации и коллизии романа, характеры — и не нахожу». Твердо убежден в том, что «роман все-таки не состоялся», Дмитрий Иванов (обзор «Что впереди?» в журнале «Огонек», 1987, № 2), считающий, что Белов сделал назад не шаг и даже не два, а больше. «Он — певец и творец лада — не сладил с темой, не сладил свою книгу». Вот так: приговор окончательный, единодушный и обжалованию не подлежит.

Если бы так, но — увы! — основания для апелляции лежат на поверхности, и грех ими не воспользоваться.

В представлении П. Ульяшова, Белов — это «автор произведений преимущественно из крестьянского быта» (выделено мною. — В. О.), и, хотя в этом коротеньком утверждении содержатся два существенных историко-литературных просчета, останавливаться на них я не стану, чтоб не отвлекаться от темы, — важно здесь нечто другое, вскрывающее причину неприятия романа. Ульяшов ждал произведения, написанного в привычной ему манере «деревенской прозы», с точки зрения ее канонов он и воспринимал роман «Все впереди», поэтика которого совсем иная. Критик судил произведение не по тем законам, по которым создавал свой роман Белов, а по другим, давним, новой цели и новому материалу не соответствующим.

Не собираясь «отождествлять автора и его героев» (заметьте, П. Ульяшов знает, что этого делать нельзя),

критик все-таки чувствует необходимым это тождество подчеркнуть: «...пафос ретроградства, утверждаемый Медведевым и Ивановым, осуждения у автора явно не встречает. Да и не трудно догадаться, когда устами персонажей говорит писатель, тем более, что в основном они — не живые люди, а лишь рупоры его идей» (выделено мною — В. О.). Вот видите, Уляшов требует от писателя осуждения своих героев, никак он не может выбраться из плена давно отжившей нормативности. А зачем, непонятно, догадываться, говорит ли автор устами персонажей? Чего проще: покажи, в каких случаях — конкретно — говорит, а голословное утверждение, что персонажи у Белова «лишь рупоры его идей», само по себе ничего не стоит и даже нелепо, поскольку очень уж они разные, герои романа «Все впереди». Можно себе представить, если читать произведение, приняв эту точку зрения, какую дикую какофонию эти «рупоры» зададут! Вот ее-то П. Улянов и услышал — в своих смятенных представлениях.

Д. Иванов в своей статье о романе «Все впереди» размышлял с желанием разобраться в причинах постигшей писателя неудачи, однако он «писал ее по-старому» (говоря его же словами, адресованными Белову), — тоже с точки зрения отжившей своей нормативности. «Белов увидел в современной действительности много, слишком много реальных опасностей, грозящих личности, обществу и жизни вообще. Увидел в ней очень много зла — и меньше добра (выделено мною.— В. О.), ему противостоящего,— утверждает Иванов.— Увидел и зафиксировал, что с течением жизни это соотношение не улучшалось, а, к несчастью, ухудшилось». Если писатель «зафиксировал» хотя бы только это — мы уже должны быть ему благодарны: за десять лет (что отделяют действие первой части от второй) водки мы стали пить втрое больше, число разводов увеличилось, производство в стране довели до кризиса — смотрите статистику, мнения социологов и публицистов в каждой газете, Увидел критик, что «жизнь беловских героев не стала лучше. И главное зло, их подстерегающее: все большая разобщенность». Все верно, но сказанное касается не только «беловских героев», но и всех нас — об этом говорится достаточно ясно в партийных документах последнего времени. Следовательно, об искаженном изображении действительности в романе В. Белова говорить не приходится — надо говорить о правде жизни.

Догматизм критериев сближает позиции Д. Иванова и П. Ульяшова, а последний идет также и по стопам В. Лакшина, для которого, кстати, Белов тоже — только «замечательный знаток Тимонихи».

С первых слов о романе Белова В. Лакшин удивляет несостоятельностью своей методологии, — а ведь помнятся его интереснейшие статьи еще начала шестидесятых годов. «Белов не скрывает того, что он воинствующий архаист, — пишет критик. — Но, к сожалению, глубина его обличений в большинстве случаев — это глубина мелкой тарелки. Объектом пламенного, «аввакумовского» негодования или иронии героев Белова становятся...» (выделено мною. — В. О.). Не будем перечислять вслед за Лакшиным эти объекты, мне важнее подчеркнуть другое: разве правомерно, говоря об «обличениях» писателя, напрямую иллюстрировать их «объектами... негодования или иронии героев» романа? Ведь это же не что иное, как то же самое отождествление взглядов писателя с представлениями некоторых его героев. Дальше — больше: критик увидел в романе едва ли не только обличения, которые сами по себе вовсе не занимают Белова; да и разве наша эстетическая мысль не отказалась уже давно видеть даже в произведениях русской классики XIX века только обличения, а подобный взгляд определили как вульгарный социологизм? Так кто же «архаист», Лакшин или Белов?..

Вернемся, однако, к вопросу о соотношении позиций писателя и его героев. Кажалось бы, есть непреложный, известный не только критикам-профессионалам, но и читателям, закон художественного творчества в слове: высказывания персонажей не тождественны мнению писателя, из слов героя недопустимо прямо выводить позицию автора. Отвергая притязания критики и читателей на отождествление личности автора и образа-персонажа, Ф. Достоевский не однажды объяснял самостоятельность своего героя. «Не понимают, как можно писать таким слогом», — сетовал он в письме брату Михаилу 1 февраля 1847 года по поводу «Бедных людей». — Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может». Аналогичного типа суждение есть у Достоевского и относительно старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы», в сущности, очень близкого ему по взглядам героя. Неоднократно возмущался А. Чехов в подобных ситуациях. Вот, например, по поводу «Скучной исто-

рии»: «Если Вам подадут кофе, то не старайтесь искать в нем пива. Если я преподношу Вам профессорские мысли, то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей».

Подтверждения общей закономерности можно множить без конца. Разумеется, исключениями являются случаи, когда сам художник сознательно сливает свой голос с речью персонажа или допускает это невольно, но ни одно из названных исключений не имеет места в романе «Все впереди». Впрочем, у меня еще не однажды появятся и возможности, и необходимость дополнительно аргументировать это свое мнение.

Есть и еще одна причина, так сказать, генетического порядка, требующая настаивать на абсолютной суверенности героев романа «Все впереди». Суть в том, что основополагающей для В. Белова в его новом произведении стала традиция Ф. М. Достоевского. Между тем проблема полифонизма в современной прозе никогда, в сущности, и никем не рассматривалась, скорее всего потому, что практика дает очень немного оснований для этого. (И я здесь ограничусь только постановкой проблемы). Можно говорить об элементах полифонизма в прозе Ю. Трифонова, Ю. Бондарева, Г. Семенова и В. Быкова. Основательнее эта традиция просматривается в романах С. Залыгина «Комиссия» и особенно «После бури». Возможно, творчество и еще кого-то из прозаиков дает материал для исследования обозначенной проблемы, но во всяком случае полифонизм далеко еще не стал освоенным принципом в литературе наших дней. Предчувствую вероятное возмущение: как?! Разглядеть полифонизм в романах о сиволапых мужиках и у автора «произведений преимущественно из крестьянского быта» — да ведь это же нонсенс! И тем не менее так оно и есть. Видимо, М. М. Бахтина охотнее цитируют (для престижа!), нежели серьезно читают и, встретившись с практическим воплощением принципов полифонического романа в современной прозе, не узнали метода. А Бахтин предсказывал, что «новый структурный принцип полифонии... сохраняет и сохранит свое художественное значение в совершенно иных условиях последующих эпох (см.: «Проблемы поэтики Достоевского», М., 1972. Далее цитируется по этому изданию).

Почему же традицию полифонизма не узнали в романе В. Белова? Наверное, потому, что не учли его способности меняться от произведения к произведению и

ждали знакомых мужичков, скроенных по меркам «Привычного дела» и «Канунов». Так этими книгами он сделал свое дело и давно ушел к иным пластам жизни, что легко было понять уже по циклу «Воспитание по доктору Споку» и пьесе «По 206-й». Правда, если цикл бурно обсуждался (чего Ульяшов не заметил и до последнего времени — пятнадцать лет! — ждал обращения Белова к «городской тематике»), то пьесе никто не пошел за труд прочитать всерьез. А между тем, в повестях и рассказах цикла уже наметились подступы к опыту Ф. Достоевского, а в пьесе полифонизм сказался во всей определенности и последовательности.

Есть и другая причина непонимания. «Для литературно-критической мысли творчество Достоевского распалось на ряд самостоятельных и противоречащих друг другу философских построений, защищаемых его героями... Голос Достоевского для одних исследователей сливается с голосами тех или иных из его героев, для других является своеобразным синтезом всех этих идеологических голосов, для третьих, наконец, он просто заглушается ими», — пишет М. М. Бахтин. Не так ли воспринят и роман В. Белова, отчего в нем ни один из критиков не нашел ни цельности, ни, следовательно, художественности?

Позволю себе напомнить по этому поводу интересное высказывание Ю. Мейер-Грефе, которое цитирует Бахтин: «Кому когда-нибудь приходила в голову идея — принять участие в одном из многочисленных разговоров «Воспитания чувств»? А с Раскольниковым мы дискутируем, — да и не только с ним, но и с любым статистом». В дискуссии с героями Белова критики пустились, ничуть не поднявшись над ними: та же неспособность слышать друг друга, та же самоуверенность в изрекании окончательных истин. При этом еще и подтасовку допустили: оговариваясь, что они не отождествляют Белова с его героями, они тут же инкриминируют ему высказывания то Медведева, то Иванова или Грузя — ведь именно в их взглядах они нашли ретроградство, домостроевщину и отрицание научно-технического прогресса. Впрочем, а почему бы и не спорить с Медведевым, Ивановым или с кем-то другим из беловских героев? — они ведь сами так и провоцируют на спор своей истовостью, азартом, неподдельным жаром убежденности...

Так что же такое полифонизм по определению М. М. Бахтина? «Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний,

подлинная полифония полноценных голосов действительно является основной особенностью романов Достоевского. Не множество характеров и судеб в едином объективном мире в свете единого авторского сознания разворачивается в его произведениях, но именно множественность равноправных сознаний с их мирами сочетается здесь, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого события» (выделено М. М. Бахтиным). И еще два момента исследователь подчеркивал особо: «Слово героя... не служит выражением собственной идеологической позиции автора...»; «обычная сюжетная прагматика играет второстепенную роль...» Суммируя особенности полифонического романа, М. М. Бахтин предупреждал, что с точки зрения «монологического канона» (к которому и мы привыкли в современной практике) «мир Достоевского может представляться хаосом, а построение его романов — каким-то конгломератом чужеродных материалов и несовместимых принципов оформления». Понятно, что цельность поэтики романа может быть понята лишь в том случае, если произведение будут оценивать по тем законам, по которым оно создано художником.

Критики Василия Белова и с привычными-то художественными нормами не очень считались, а перед «хаосом» и вовсе растерялись. В романе «и сюжет, и конфликты, и характеры удивительно неправдоподобные, надуманные, искусственные», — утверждает, например, Уляшов, прямо иллюстрируя давние опасения Бахтина, нимало не сомневаясь в правоте своего приговора (кстати, совершенно не мотивированного). Припомните у Лакшина перечень «объектов негодования» беловских героев — этот «конгломерат чужеродных материалов» должен, судя по всему, показать абсурдность и несостоятельность художественных решений писателя... Читая роман «Все впереди» с точки зрения заранее заданных установок, несовместимых с принципами его поэтики, доискаться убедительных оценок мудрено.

В своем новом романе Белов не слепой последователь метода Достоевского, не эпигон — он вполне самостоятелен в поиске идейно-художественных решений. Если у Достоевского есть завершенность идеологических взглядов персонажей (ведущих, по крайней мере), то у беловских героев ее нет, и в этом не просчет, а достоинство писателя, свидетельство современности его романа. Ведомственность, профессиональная ограни-

ченность стали к настоящему времени общественным бедствием, существенно повлияв на психологический склад личности, почему перед партией и возникла проблема воспитания нового мышления. Наш современник — человек частичного, расколотого сознания. Он знает многое и в то же время не знает ничего, живет осколками представлений о действительности. Потому нет целостности и ни у одного из героев романа «Все впереди». В лучшем случае мы можем говорить лишь о последовательности их взглядов (Медведев, Грузь).

Цельность присуща самому Белову, и даже трудно сказать, за счет чего складывается это впечатление. Непосредственно голос автора нигде в романе не звучит, однако наложение идеологических, мировоззренческих сущностей друг на друга в их столкновении или консолидации, в тех или иных реакциях героев (всегда с отчетливым знаком отношения) создает художественную атмосферу, не оставляющую места для двусмысленности. А то, что не прояснено, — то с отчетливостью не выявилось и в нашей общественной жизни: задумавшийся да найдет ответы. Делать же роман учебником жизни — задача не только самонадеянная, но и наивная, и Белов далек от подобных притязаний.

Роман Белова диалогичен и полемичен, и в этом смысле он опять же следует за Достоевским. Но что это за диалоги! Героям вроде бы и не хочется вступать в разговор, тем более спорить — они как будто (и наверное) уже устали от болтовни. Только дважды имеют место развернутые диалоги: Иванов — Бриш, Медведев — Иванов. И если герои Достоевского говорят много и с упоением — остановить невозможно! — персонажи Белова зачастую, обронив одну-другую реплику, обрывают разговор или переводят на нечто другое. Нет, не потому, что им сказать нечего, скорее — незачем: любой спор безысходен, практических последствий борьба мнений не принесет и потому — бессмысленна. Только на XXVII съезде партии была сформирована потребность в выработке нового качества гласности.

Характеры героев последовательно выдержаны у Белова и никак не напоминают марионеток. Писатель чаще всего не комментирует мысли героев, а фиксирует то, что они говорят. Он не навязывает им тех или иных переживаний, а открывает эмоциональную жизнь персонажей в жестах и поступках. Короче, автор остается объективным по отношению к героям, предоставляя нам возможность самим оценивать их поведение и мнения.



Субъективный мир героев автономен по отношению к автору, а мир внешний, объективный чаще всего воспринимается через отражение того или иного субъекта, открывая нам новые, дополнительные возможности познания персонажей. Кроме того, в тексте заключены еще и пласты иных порядков — неодинаковые в разных случаях. Так проявляет себя многомерность художественного слова у В. Белова, которая, сама по себе, довольно-таки редкое явление в нашей художественной прозе, даже в ее лучших образцах.

Можно себе представить, как легко продолжить мысли и рассуждения беловских героев в заданных параметрах, однако писатель вовремя останавливается: Зачем развивать их, греша многословием, если мы и так поняли направление мыслей персонажей и их позиции? Ведь так или иначе все мы, читатели, знаем — кто в меньшем, кто в большем объеме, — продемонстрированную систему представлений того или иного героя.

Веря в активную роль читательского восприятия, В. Белов остается неизменно лаконичным. Понаблюдав в одной-двух ситуациях эмоциональные проявления персонажей, мы уже сможем ясно представить себе их поведение и в других случаях, которые тоже можно множить без конца, — и тут писатель себя ограничивает. Не позволяет он себе и многословных описаний внешнего мира, Москвы, например, — столицу теперь все представляют. Было бы забавно в наш век описывать, допустим, Париж на полусотне страниц, как у В. Гюго, или один только рынок «Чрево Парижа» — на тридцати страницах, как у Э. Золя. Нам достаточно отчетливо обозначенных немногих параметров, цель которых — не мир показать, а своеобразие восприятия героев. Белов учитывает условия существования современной прозы, рядом с кино и телевидением, — в этом для него заключена еще одна из причин, побуждающая стремиться к предельному лаконизму.

...А теперь пора поближе присмотреться к героям Василия Белова и к миру, открытому их взгляду, чувству, разуму.

Зачин первой части романа — своего рода пролог, ничего не предсказывающий и не вводящий в предысторию, как бывает обычно, а просто настраивающий нас на внимательное чтение. Люба Медведева, вернувшись

самолетом из Парижа, «испытывала усталость и облегчение, она оставила незамеченным краткий наплыв душевной тревоги. Предчувствия недобрых событий никак ее не устраивали...». Чем вызвана эта тревога и каковы предчувствия, почему она отмахивается от тревог и на предчувствия закрывает глаза?..

С первых слов намечен характер легкий, нет — не легкомысленный, а именно легкий — не способный основательно за что-либо взяться, но склонный по возможности уйти от проблем и забот. О поездке в Париж «она даже не мечтала», — писатель использует возможности несобственно-прямой речи, находя созвучную настроением персонажа интонацию, чтобы мы изнутри почувствовали душу Любы, живущей надеждами на все лучшее. Разве плохо это? — нет, но почему вдруг словно сквозит ветерок, может быть, потому, что под наплывом все новых и новых желаний она не ценит то, что имеет, надеясь «на близкое необыкновенное будущее»?.. Впрочем, Люба открывается нам как чуткая гармоничная натура, отчего за границей ей «все время было стыдно», потому как ей казалось, что «москвичи многое делают невпопад». Тактичная и чистая женщина, она не услышит прозвучавшего рядом вульгарного экспромта. Зная семейные радости, «в свои счастливые минуты она вспоминала дочку и мужа... вспоминала мать...» — она бы хотела разделить с ними свое счастье.

В Париже многое открывается нам восторженным взглядом Любы Медведевой. Утро в Марселе видится ей в разнообразных подробностях, в сочных выразительных красках... И вот случайная встреча с Мирским на пирсе: «Он ловко подправил ее за локоть, когда Люба ступила не в том направлении. И тут же нервным движением выпустил ее руку». Заметим, это жест Мирского и одновременно внутреннее движение самой Любы — поскольку она жест заметила, так сказать, приняла сигнал небезразличия. И, конечно, могла понять неслучайность того, что и во время обеда и за ужином Бриш с Аркадием и Мирским оказывались за одним с нею столом. Женщины таких деталей не оставляют без внимания.

Поздний визит Михаила Бриша в гостиничный номер Любы Медведевой — всего одна страница, казалось бы, легкой необязательной болтовни, а сколько мы узнаем о них, Любе и Брише, об Аркаше; наконец чувствуем спяну прорвавшуюся зависть и неприязнь Бриша к Медведеву, получаем первые сведения о Зуеве, который вскоре займет свое место в романе... И спокойно, замед-

ленно — при всей неприхотливости внутренне напряженного диалога — ведется повествование, чтобы читатель имел возможность приглядеться к героям, услышать их, привыкнуть к ним — то есть войти в романый мир.

А следующая глава с первых слов ведется в иной интонации: «Почему раньше не замечалась эта медлительность? Трап двинулся к самолету, как черепаха, стюардессы, казалось, еле переставляют ноги. Пограничники и те никуда не спешили...» Это уже восприятие не Любы, углубленной в себя, а нервность реакции Иванова, всегда обращающего внимание на несообразности, неизменно критичного — теперь тот же самый мир открывается взором этого героя. Вместе с тем мы слышим голоса других персонажей в их живой натуральности — несобственно-прямая речь естественно и пластично совмещает два плана.

Со свободной уверенностью и артистическим изяществом В. Белов ведет композиционную укладку материала, действительно умея гибко и непринужденно сочетать, казалось бы, несовместимое. Элегические воспоминания Иванова (вызванные тем, кстати, что он увидел в туристическом автобусе не узнавшую его Любу Медведеву) прерваны неожиданно и резко:

«— Александр Николаевич, о чем вы опять думаете? — сказал бритый профессор. — Отдохните, не думайте. Как говорил один мой знакомый: пусть думает лошадь, у нее голова больше!..»

Профессор громко расхохотался. Дама с мужскими манерами строго на него поглядела, и он затих, как первоклассник. Группа покидала автобус. Иванов потеснился, чтобы дать ход инвалиду...» И дальше — строк десять о нем, инвалиде Саманском: выделился из общей массы то ли странностью, то ли пижонством — неважно.

В беззастенчивой самоуверенности профессор полагает себя наблюдательным и остроумным, но он только груб, а уверенность в себе — показная: ее легко сбילה «дама с мужскими манерами». Слово «опять» в реплике профессора характеризует замеченную окружающими склонность Иванова уходить в себя. Иванов потеснился — и возник повод наметить портрет еще одного из членов группы. Может показаться, что характеристики и портретные детали бедны и случайны: профессор — «бритый», дама — «с мужскими манерами», — но они вполне достаточны для взгляда персонажей на своих временных попутчиков, которые через неделю будут за-

быты (и в этом психологическая точность беловского слова). Наконец при многообразии функциональных значений этих немногих фраз, все они вместе служат еще и описанию обстановки, быта туристов в поездке. Емкость, максимальная нагруженность слова, естественная гибкость переходов от одной, как правило, — предельно лаконичной — мизансцены к другой — эти свойства характеризуют повествовательную ткань романа «Все впереди». При этом можно анализировать, не повторяясь, любую страницу, потому что сам Белов не повторяется в приемах подачи материала.

Разговоры туристов с одного перескакивают на другое, каждый говорит о своем, и лишь немногие рассчитывают на особое внимание. Было бы смешно искать целесообразности в этих разговорах, которые и общими-то назвать нельзя. Однако вопросы и ответы, при всей их видимой случайности, рисуют коллективный портрет временной социальной группы, отражающий черты нашего современника.

Вот желая обратить на себя внимание, «около гида важничал Саманский:

— Скажите, мсье, как современные французы относятся к Парижской коммуне?

— Положительно! А как можно иначе? — ответила за гида одна из москвичек. — Стыдно даже слушать такие вопросы!»

Москвичка, не пытаясь задуматься, что возможны и другие мнения, проявила юношеский ригоризм, обнаруживая неспособность к ведению диалога. Саманский же все равно находит, чем потешить свое тщеславие, заведя разговор о сексе.

Вот тут-то и появилось сопоставление, за которое ухватились критики: «Нарколог Александр Иванов подобно Дон Кихоту Ламанчскому всегда и везде был «жаждущим справедливости». Сослуживцы его так прямо и называли... И вот, услышав голоса в пользу разврата, Иванов хотел было ринуться в бой, но вовремя опомнился и затих...» (разрядка моя. — В. О.). Заметим только «подобно Дон Кихоту», — и уподобление тут же снято следующими словами. Какой же это Дон Кихот, если свое хотение он не превращает в немедленное действие, — а Иванов «опомнился». Авторская ирония тут несомненна, Иванов слишком нерешителен, чересчур склонен к рефлексии. Это Авдий Калистратов у Айтматова — человек не от мира сего — может донкихотствовать, а беловскому герою такой

возможности не дает его социальная роль. Припомните, он и ретроградом хочет, но не может быть. Что же это за новоявленный Дон Кихот с подавленными желаниями?..

Через минуту-другую после несостоявшегося разговора о Парижской коммуне Иванов стал невольным свидетелем чужого разговора: Бриш и Мирский заключали пари по поводу Любы Медведевой на бутылку виски «Белая лошадь». Припомним: «Раздался шлепок ладоней. Иванов почувствовал, как полыхнуло жаром лицо, словно его ударили сразу по обеим щекам. Он оцепенел, не двигаясь, а когда пришел к себя, в соседнем номере было уже тихо... Он долго сидел в кресле. Ему хотелось заплакать, но он, усмехаясь, сошел вниз, небрежно спустился по скрипучей узенькой лестнице...» Растерянность и чувство беспомощности, стыд за соотечественников и смятение, душевная боль и стремление скрыть, спрятать даже от себя собственные переживания,— Иванов открыт нам в душевной незащищенности и щепетильности. Тут невольно почувствуешь себя «соучастником преступления» — ноша нелегкая...

Вступление в роман уместилось на десятке журнальных страниц, а Василий Белов уже познакомил нас с основными героями, дал возможность понять своеобразие их характеров и особенностей душевной жизни, сообщив попутно немало биографических сведений,— не в одномерно информационном ключе, а в картинах и сценах. Параллельно, воссоздавая течение жизни, из деталей, кажущихся случайными, писатель обрисовал социальный портрет группы, каждый член которой — сам по себе, и сам в себе по-своему художественно завершен.

Вот, скажем, «одна из москвичек» едва ли не одной фразой и представлена,— а не только характер, но и самый образ мышления ее схвачен с исключительной цельностью и точностью. Мне достаточно этой реплики, чтобы представить в ней недавнюю отличницу в школе, кроме учебников никогда ничего не читавшую, и активистку, идейная убежденность которой такова; что она не может допустить существования никаких других мнений, помимо единственного, ей внушенного и ею усвоенного. Будет у нее власть со временем — она не потерпит никакого инакомыслия, считаться ни с кем не станет, полагая себя авторитетом, судьей всея и всех. Ее будут бояться, а за спиной посмеиваться. Еще вчера она бы выросла до секретаря райкома партии по идео-

логи, кем станет завтра, пока не знаю... Домысливаю? Что ж, на взгляд тех, кто согласится тотчас с ее ответом, наверное... Только за отношением к Парижской коммуне стоит вопрос о возможности во Франции новой революции и о ее характере. Тут однозначности мнений быть не может: при сравнительно небольшом и медленно растущем населении эта страна под угрозой гибели нации не может допустить в будущем кровавой междоусобицы, какими бы целями она ни была вызвана.

Так во многих случаях за одной репликой кроется немереная глубина, однако абсолютизировать этот принцип не следует,— мы услышим и пустоватые реплики героев, характеризующие их только однопланово.

Далеко еще не полностью исчерпав многообразие содержания двух начальных глав, к некоторым другим прозвучавшим в них мотивам я позднее вернусь...

Во всем своем романе В. Белов последовательно лаконичен, строго избирателен в отборе материала, только кажущегося случайным. Не имея возможности комментировать каждую сцену, я позволю себе лишь на одной проблеме (оказавшейся едва ли не самой скандальной) остановится подробно.

### 3

Больше всего задела критиков мысли Медведева об ущербности и бесчеловечности прогресса, об «автономности» крестьянской избы. Вырванные из контекста отдельные высказывания, сопоставленные с привычной догмой, многим должны показаться нелепыми, абсурдными, от жизни оторванными. Читаются они не как извлечения из романа, а будто цитаты из трактата. Есть разница? Полагаю, да: высказывания героя романа вне контекста мертвы.

Медведев истосковался по общению (строителей сушилки, кроме длинного рубля, наверное, не многое интересует), он не видел Иванова десять лет, наконец оба взвизгивают похоронами. «Неужели это и есть жизнь? — ужаснулся Иванов. — Это коротенькое тире между двумя датами. Непостижимо...» А тут и Медведев встречает его необычным вопросом: «Как ты думаешь, есть разница между умершим и живущим?..» Они сошлись в одинаковом настроении, об одном думали (это предопределено посещением кладбища), кажется, должны бы и понимать друг друга, но — нет. Вопросы Иванова сугубо житейские: «А что вы строите?»

«Ты не пробовал устроиться на работу в городе?...» Вот тут и возникает вопрос об НТР, Иванову, в сущности, безразличный (просто «как-то не очень прилично: кандидат наук строит сушилки»). Он даже удивлен: «Ты отрицаешь научно-техническую революцию?»

В беседе нет взаимопонимания, и Медведев с азартом горячится, высказывания его обостряются, принимают крайнюю форму, вплоть до парадоксов — чтоб встряхнуть Иванова, заставить его задуматься. Ведь в сознании человека подспудно живет надежда, определяющая, если можно так сказать, психологию спора: одного сумею убедить — тогда и весь мир меня поймет. Отвергнув все революции — наряду с научно-технической и социальную, и сексуальную, и экстремистов-леваков из красных бригад, — и сам отмежевываясь от революционности, Медведев на растерянный вопрос Иванова: «Кто же ты? Либерал?» — отвечает: «Я консерватор. Отъявленный ретроград. И, представь себе, даже немножко этим горжусь».

Согласимся, ответ Медведева прозвучал с весьма изрядной долей вызова: уверяю вас, ни один ретроград никогда и ни при каких обстоятельствах не называл себя и не признавал ретроградом, даже слова «консерватор» в свой адрес у нас все как черт ладана бояться. И дались нам эти ярлыки! Медведеву просто хочется высказаться перед близким человеком сразу обо всем, что выношено за долгие десять лет. Нам не дано знать, как он там жил (записок «из мертвого дома» он еще не писал), но по отдельным его высказываниям, по тому, что он выделяет из читанного им, чувствуется большая и целенаправленная работа ума. Но «близкому» человеку далеки его мысли, и Белов дает это понять вопросами Иванова: «Ты хочешь, чтобы все топили дровами?» «Насколько я понял, ты перестал быть урбанистом?» и т. д. И при этом Иванов то «подкузьмил» вопросом, то спрашивает «ехидно». Диву даешься, почему Лакшпи и Уляшов не увидели в нем своего союзника?..

За высказываниями Медведева чувствуется целостная продуманная система взглядов, но кто же свои программы формулирует в застольных беседах с приятелями? Ждать абсолютной цельности, непротиворечивости, обдуманности высказываний героя не приходится — не забудем, мы имеем дело с романом, а не с трактатом. А с другой стороны, взгляды Медведева представлены гораздо шире в этом долгом (самом

обстоятельном в романе) диалоге. Разумеется, писатель мог бы подчистить, обгладить мысли своего героя, избавить их от острых углов,— но это был бы уже не Медведев, а Белов, и герой бы именно тогда стал мертвым рупором идей писателя. А в романе, несмотря на очевидное сходство высказываний персонажа со взглядами самого автора (в чем мы можем убедиться, познакомившись с публицистикой Белова) есть разница — герой сохраняет свою автономность.

Вот давайте и поспорим — но не с писателем Беловым, а с героем романа «Все впереди» Дмитрием Медведевым. Признаюсь сразу, мне его представления ближе (хотя приемлемы и не целиком), чем позиция В. Лакшина или П. Ульяшова, и, чтобы приблизиться к объективности, я позволю себе пригласить «третьего судью»,— простите за волевое решение, но я искал человека по возможности близкого моим (невольным) оппонентам.

Итак, слово Медведеву, и, поскольку невозможно процитировать полромана, представляю два момента, вызвавших не просто возражения, но сарказм и негодование критиков.

«— Останавливать надо не только гонку вооружений но и гонку промышленности. Техника агрессивна сама по себе. Покоряя космос, мы опустошаем землю. Технический прогресс завораживает обывателя. Все эти теле-, само-, авто- порождают соблазны чудовищных социальных экспериментов. Насилие над природой выходит из-под нравственного контроля. А человек — часть природы! Следовательно, мы сами готовим себе ловушку? Самоистощение и самоуничтожение... Иными словами: самоубийство. А ведь началось-то все с обычного самохода и самолета, каково, а?.. Безграничное доверие ко всему отчужденно-искусственному. К водопроводной воде, например, к газетной строке. А к лесному ручью и к устному слову — никакого доверия!»

И вот еще что позволил себе сказать Медведев, «разочарованный слушателем» — Ивановым:

«— Кстати, крестьянская изба, братец, всегда спасала Россию, И если мы погибнем, то отнюдь не от «першингов»... Крестьянская изба — это все равно что зуевская подводная лодка, она всегда в автономном плавании. Одна она и способна на длительное, самообеспеченное существование. Причем, заметь, не только во время войны. Потому так яростно и уничтожаются



во всем мире крестьянские хижины! Извини, я уже читаю тебе лекцию...»

Речь, оборванная на полуслове — «извини», — как раз свидетельство невозможности в непринужденном житейском разговоре предложить развернутую систему взглядов. А поскольку высказывания не обладают полнотой, поневоле в них что-то чрезмерно выпирать будет, иные моменты окажутся неаргументированными, неизбежна и внутренняя противоречивость. Белов художественно и воплотил именно такое состояние, учитывая особенности формирования живой речи. По мне, так необходимы существенные оговорки относительно того, что «техника агрессивна сама по себе»: обсуждая вопрос в строго философском плане, следовало бы говорить об относительной самостоятельности научного и технического прогресса (конкретизировать здесь мне не представляется уместным). С грязной водой не следовало выплескивать и «здоровенького ребенка» — самоход и самолет сами по себе были полезными изобретениями, — кто же виноват, что он, этот «ребенок», оказался вырождением?.. И «автономность» крестьянской избы, сама по себе неоспоримая, нуждается в оговорках и пояснениях с поправкой на нынешнее время.. Что же делать, если Иванов — как почти любой нынешний интеллигент — не подготовлен жизнью к такому обсуждению и возражений, подобных приведенным мною или любых иных, не сделал.

Их сделали другие — П. Ульяшов и Д. Иванов, — они, хотят того или не хотят, солидарны с Ивановым из романа «Все впереди!» и не основательнее его подготовлены к спору, но — агрессивнее. Кстати, и В. Лакшин, утверждая «воиствующий архаизм» В. Белова, тем самым безоговорочно присоединяется к ним, только он гораздо осторожнее и осмотрительнее.

Потрясающе неопровержима логика мысли П. Ульяшова — от цитаты к цитате: «Где же спасение? Оказывается, в крестьянской избе». Контекст для него не существует (что ж, он по-своему прав, поскольку уже отказал роману в каких-либо художественных качествах), но почему же он принимает Медведева (или Белова?) за мессию, должного указать путь в землю обетованную?... Нелогично.

Как ребенка, П. Ульяшов увещевает Белова: дескать, «никто не против крестьянской избы, ее процветания, достатка и самостоятельности» (читай сельскую публицистику, например, Ивана Васильева.— В. О.). Он

улещает писателя: мол, «неужели сам В. Белов против того, чтобы в его родную Тимонику была проложена первоклассная трасса (туда вполне достаточно добротной одноколейной грунтовой дороги. — В. О.), чтобы наши крестьянские избы стали похожи на человеческое жилье (лучшего для условий деревенской России еще не придумано, и даже архитекторы отказались теперь от еще недавно настойчиво навязываемых пятиэтажных коробок в пользу «коттеджей» — читай, тех же крестьянский изб,— на этом много перьев было сломано в печати. — В. О.), чтобы быт и труд доярок, животноводов и механизаторов был максимально облегчен» (устные и письменные суждения об этом я непрестанно слышу более четверти века, а воз и ныне уехал недалеко. — В. О.)... И вот последний аргумент: «...осуществить все это без ускоренного развития промышленности, без машин нельзя. И без НТР тоже, без того, чтобы научная и техническая мысль в стране шла впереди мирового процесса, а не плелась в хвосте». Увы, плетется (читай, например, «Комбайн косит и молотит» Ю. Черниченко) да еще и паразитирует до сих пор за счет крестьянской избы... Не знаю, кому как, а мне неловко читать подобные фразы, в которых нет ничего, кроме юношеского ригоризма, основанного на азбучных истинах (не дай бог, та самая «девушка-москвичка» станет критиком — тогда уж точно вот таким).

Роман «Все впереди», по словам П. Ульяшова, «проникнут пафосом отрицания прогресса вообще. Но тогда что же — застой? Рутинка? Назад к природе? А как в этом случае автор представляет положение и перспективы общества, страны, когда весь мир будет ускоренными темпами развивать технику и экономику, а мы поселимся в деревенской избе и будем ждать... Чего? Ответа ведь на этот счет роман не дает».

Какова забота о судьбах страны, какова злость уличения писателя и какова... паника автора-критика! А он ведь и не заметил, что подтверждает мысль Медведева об «агрессивности техники». Критик попал в заколдованный круг безумной гонки НТР — как страна попала в безвыходное кольцо гонки вооружений.

Была возможность у П. Ульяшова вместе с героями В. Белова поразмышлять альтернативно, но он не пожелал, слепо уверенный в благодатности прогресса. Все, что он увидел в романе, это «отступление художника от исследования объективных законов общественного развития, подмена их мелкими, поверхностными

фактами, нежелание смотреть на общественный прогресс в перспективе, пристрастие к обывательским предрассудкам и заблуждениям...»

Полагаю, что сейчас кстати дать слово и «третьей-скому судье», хотя оговорюсь, в нарушение статуса такой роли, я с ним позволю себе кое в чем не согласиться.

«В наши дни люди Земли — и в первую очередь население промышленно развитых стран, — пишет в статье «Человек и прогресс: враги и союзники?» академик Раушенбах, — оказались перед тем тревожным фактом, что мощное поступательное движение цивилизации, опирающееся на достижения современной науки и техники, явно приносит уже не только желанные плоды. Примеры общезвестны...» («Лит. газета», 1987, 1 февр.). Ну, а поскольку общезвестны примеры, я не стану их перечислять, надеясь, что и П. Ульяшов их знает. Не так ли? Но вот общий вывод: «Нависшая над людьми опасность стала столь грозной и реальной (выделено мною. — В. О.), что порой место разумной осторожности занимает иное, неконструктивное чувство — панический страх, выливающийся иной раз в бездумное отрицание прогрессивности самого прогресса». Благо так вопрос ставить и тешиться надеждами, будто «человек в наши дни мыслит дальновиднее, чем прежде, и пытается крепче взять судьбу человечества в собственные руки». Ведь такое умозаключение на песке написано, факты же говорят об обратном, и меня больше убеждают слова о том, что опасность стала «грозной и реальной», нежели упования на «дальновидность» и «разумную осторожность». Ну, приостановили переброску стока северных вод, а чего это стоило — читайте обзор эпопеи в «Новом мире» (1987, № 1), написанный С. Залыгиным. Что, убеждает? А сколько других известных и уже воплощающихся несостоятельных, безответственных проектов?.. Не буду говорить о Чернобыле, — немало аварий, скрытых от мнения общественности, меры по которым, якобы, приняты. Да, в форме отписок... А подобные случаи, оставаясь неизвестными общественности, происходят повсеместно, так что и случаями быть перестали — в них нашла себя закономерность. Надеяться на дальновидность и осмотрительность ученых я не могу — хватит с меня опыта «переброски» северных рек, — тут многие академические тузы себя «показали»... Кстати, их предвосхитил (а может быть, отобразил Академик в романе В. Белова).

Нет, в принципе я не против научно-технического прогресса, полагаю, так же, как и Василий Белов, и прав Б. Раушенбах, когда пишет, что «наша робость перед настоящими или будущими проблемами не остановит научно-технический прогресс, ибо он — свойство, столь же присущее цивилизации, сколь отдельному человеку присуще свойство мыслить». Только почему опять столь абстрактно ставится вопрос? Верно, никакие соображения «не в состоянии заставить человеческий мозг прекратить мыслительную работу», да и кому это нужно? Но почему не направить человеческий мозг не на выбор лучшего из двух худших вариантов (например, по Раушенбаху, АЭС или ТЭС?), а на принципиально иной поиск?..

Мысли Б. Раушенбаха в какой-то мере предвосхищают неудоуменные вопросы Д. Иванова в его статье «Что впереди?». Критик, как и многие, превышая свои права, взялся угадывать, что Белову «видится» и «кажется», — а видится «общий корень — наступление мнимого прогресса. Белова оно пугает своей явной неотвратимостью, тем более, что прогресс этот кажется ему не только мнимым, но и неестественным, внедряемым со стороны». Обнаружив этот «общий корень», Д. Иванов растерялся перед романом и откровенно признается: «Где писатель здесь излишне пугается сам и пугает других, где путается, а где действительно прав — решить трудно, а чаще и невозможно, поскольку намеки в романе многочисленны и многозначительны, но какое и чему придается значение — не разгадать». А может быть, и гадать не надо, а настоятельно требуется думать, искать: каждому — по отдельности, а потом уже — всем вместе. И ничем не помогает Иванову ссылка на В. Лакшина, которому «не нравятся некоторые из особенностей новейшей цивилизации» и который задается вопросом: «Но найдена ли автором на все это какая-то более высокая точка зрения?» Уверяю вас, найдена: это исключительная озабоченность судьбами людей, страны и современной цивилизации! Куда уж выше...

Нет, и Д. Иванов не видит «точки опоры» в романе В. Белова. «Соотношение особенностей новейшей цивилизации» в его изображении выглядит крайне произвольным, — пишет критик. — Как говорится, дай-то бог, чтобы здесь Белов по-настоящему ошибался.

Только на бога и остается уповать в прекраснотушных надеждах.

А теперь поразмыслим сами, не сваливая все на Белова, относительно «неотвратимости» мнимого прогресса, «неестественного, внедряемого со стороны»,— о чем торопливо подумал Д. Иванов да и отмахнулся. Хотелось бы верить, что «неотвратимость» еще не утвердила себя в жизни,— «пока живу, надеюсь»,— иначе бы зачем и весь этот сыр-бор заводить. А вот по поводу «неестественности» современного хода цивилизации надо подумать основательнее.

Наука и техника должны служить человеку—только это естественно, а между тем они служат против человека. Львиная доля усилий, средств уходит на вооружение, развиваются прежде всего те отрасли науки и техники, которые работают на войну,— это общеизвестно. Посудите сами, разве это нормально: запуская в космос спутники, заготовив по пять тонн сильнейшей взрывчатки на человека (переведи ее, условно, в минеральные удобрения—лет пятнадцать их не потребовалось бы производить на всем земном шаре), зубы мы ремонтируем элементарным сверлом и подгрические наросты на суставах долотом срубаем! Что, низким и вульгарным кажется такое «обытовление» высокой проблемы? А живой, конкретный, частный человек (венец творения, удовлетворение потребностей которого—цель прогресса) только так и думает, и он глубоко прав в «мелочности» своих помыслов.

Только в таких контрастах (им несть числа) и познается абсурдность, неестественность современного направления в развитии прогресса. А кто посмеет утверждать, что оно нам не со стороны навязано? Разве мир на земле не является действительно целью нашей страны?.. Право, неловко продолжать. Гонка вооружений навязана нам империалистическими кругами, ведущая роль в которых принадлежит сионизму. Круг замкнулся. Полагаю, никого не надо учить классовому подходу к оценке исторических явлений?.. А то, что сионистские круги обладают в США контрольным пакетом акций—восемьдесят процентов промышленного и девяносто процентов банковского капитала давно уже в их руках, и активно укрепляют свои позиции во всем мире, захватив повсеместно и средства массовой информации, все мы знаем,— таково уж своеобразие классового противостояния в XX веке...

Широту охвата жизненных явлений в романе Василия Белова «Все впереди» никто из критиков не оспаривает, но как понимать эту широту? За предметами не разглядел сущностей В. Лакшин и, оболыщенный ехидным блеском хлесткой метафоры: «глубина обобщений — глубина мелкой тарелки», ограничился механистическими сопоставлениями, которые ровно ничего не значат сами по себе и никуда не ведут, разве что самого критика туда же — на «глубину мелкой тарелки»... И по мнению П. Ульяшова, если ссора в романе — то «заурядная», споры — «абстрактно-схоластические», факты — «мелкие, поверхностные»... И о чем, кажется, разговор: предметом изображения можно делать что угодно — для искусства нет мелочей. «Не в предмете дело, а в глазе: есть глаз — и предмет найдется, нет у вас глаза, слепы вы, — и ни в каком предмете ничего не отыщите. О, глаз дело важное: что на иной глаз поэма, то на другой — куча...» Что ни говори, тяжелоатые слова Ф. М. Достоевского в комментариях не нуждаются...

Читая роман В. Белова, мы погружаемся в хаос реальности нам знакомой в той или иной мере и далеко не во всем понятной. Мало-помалу отдельные факты, казалось бы, не имеющие ничего общего, обнаруживают между собой определенные связи. Как результат их осознания, проясняются проблемы жизни. Писателя и его героев занимают перспективы развития духовной культуры общества, тревожат общественная пассивность науки и стихийность разбойного шествия НТР, необдуманное вмешательство в природный организм и неразумный рост городов. Жизнь бесконечна в своих проявлениях, и стремление их понять рождает все новые и новые вопросы: так ли, как ныне, должны строиться семейные отношения; кому нужны устаревшие опытные устройства в НИИ, претендующих на небывалые открытия; преодолевать ли пьянство по Иванову в его идеальных побуждениях или по формальному методу его коллеги; отвечать ли злом на зло — множество вопросов...

Когда проясняются вопросы, желание получить немедленный ответ возникает не только у читателей, но, как ни странно, и у критиков. Им хочется прямых высказываний автора, чтобы его точка зрения выложилась прямо на ладонь, то бишь в рецензию, — они уже, ка-

жется, разучились понимать позицию, художественно выраженную. «Что впереди?» — как мессию, вопрошает Белова Д. Иванов. «Каков же итог?» — требовательно спрашивает писателя П. Уляшов, надеясь, что Белов «молвит просто и ясно, что он хотел сказать своим произведением».

В свою очередь я бы предложил коллеге перечитать роман: ничего другого писатель сказать и не хотел. Надеюсь, Уляшов помнит ответ Л. Н. Толстого на вопрос аналогичного типа по поводу «Анны Карениной»? Но тщетны мои надежды: нормативность с памятью не в ладах. А критики, не найдя искомых ответов, начинают гадать, что «думал» писатель и что ему «кажется», выдавая представления героев за взгляды писателя.

Напомню, Василий Белов недавно опубликовал книгу публицистики «Раздумья на родине» (М., 1986) — в ней ищите прямо высказанные взгляды автора, хотя и тут надо иметь в виду, что Белов — не охотник до рационалистических построений.

В романе — другое дело: известно, «чем больше скрыты взгляды автора, тем это лучше для произведения искусства» (Ф. Энгельс). Лучше-то лучше, кто с Энгельсом спорить станет, но как же тогда эти проклятые романы толковать? А очень просто: низвести сложное до уровня примитивного и тогда поучать писателя с точки зрения любой расхожей заданной идеи, пусть вовсе и не аксиоматичной, но выдаваемой за неизблемый закон... Так ведь именно это и называется догматизмом: нравится кому-либо или не нравится такой вывод — от него уже не открестишься, разве что элементарным ребяческим возражением: «Сам догматик!» Есть, правда, еще один проверенный способ: заявить, что автор пишет о том, «чего не знает и не любит!» (В. Лакшин), иными словами говоря, каждый сверчок знай свой шесток. Однако относительно познаний писателя лучше бы помолчать — легко впросак попасть; неприязнь Белова к Москве — не более чем натяжка критика, пристрастно читавшего роман, а кто усомнится в любви Белова к Родине? — нюансы же любви и боли свои у каждого из нас, и разве это не правомерно?..

Ах, как избаловала нас публицистичность прозы последних лет! — а разве недостает прямых высказываний у очеркистов? Глубоко уважая работу Ю. Черниченко и И. Васильева, должен заметить, что проку от их практических рекомендаций немного. Комбайн

косит и молотит? Верно, и сегодня так же, как пять и десять лет назад. Те, кому очерки надо прочесть, их не читают. А как достучаться до глубин равнодушной человеческой души? Да, наверное, увидеть в ней сокровище, разворошить, задеть самого читателя — так и делает В. Белов.

Проблемы, заявленные в романе, теперь широко обсуждаются в обществе, и, понятно, герои Белова тоже высказывают свои позиции, свои представления. Читателю, знакомому со взглядами писателя, предложено видеть и слышать героев, судить их и составить собственное суждение о состоянии общества и тенденциях общественного развития. Белов не играет с читателем в поддавки, но и не навязывает ему своих мнений: слушайте, смотрите, делайте выводы для себя, наконец, учитесь на чужих ошибках. Писатель открывает читателям возможность спора со своими героями, а спор всегда побуждает пересматривать и собственные представления. Перекрестье мнений и суждений героев и читателей — бесконечно, тем более что роман содержательно не замкнут, открыт для личного опыта читателей (как и «Лад» чуть ранее — Белов мог бы повторить свое тогдашнее предложение дополнять повествование фактами из читательского опыта). Таким образом, роман «Все впереди» по содержанию гораздо значительнее, чем может показаться на поспешный взгляд.

Антиномии современного мира у Белова не оставляют места для двусмысленности, будят наше гражданское самосознание. В этом только и заключается цель литературы — взломать лед пассивности и равнодушия. Уж с этим-то Белов справился вполне. Свидетельство тому и горячие (если не сказать — горячечные) критические отклики на роман, и острый интерес к нему читающей публики. Трудно представить, каково будет влияние романа «Все впереди» на общественные мнения и настроения (хотел бы надеяться на парадоксы воздействия критики), но бродильное вещество заложено в нем самого высокого класса. И всякий раз по любой проблеме — позиция писателя определяется поиском здоровых начал общественного развития.

А что касается каких-то итогов, то что мы можем о них говорить, когда речь идет о художественном произведении?.. Истиной в последней инстанции, так сказать не обладает ни один человек и — даже! — ни один общественный институт, вплоть до Совмина СССР и ЦК КПСС, — кстати, об этом не однажды говорил М. С. Гор-



бачев в своих выступлениях. В самом деле, поиск верного пути не есть еще сама истина. Обнаруживается она в столкновении порой самых несопоставимых мнений при учете всех сторон проблемы, а не привычным «кто — за?» — далеко не всегда большинство оказывается правым. Условием убедительности и силы воздействия слова писателя является художественное совершенство его произведения. Для меня критические мнения, отрицающие какие-либо достоинства романа «Все впереди», несостоятельны, поскольку не учитывают новизны поэтики В. Белова и вымериваются по надуманным канонам.

Художник раскрывается уже в самом отборе материала и принципах его формирования, и, по мнению Достоевского, в любом своем произведении «непреренно виден будет он сам, он отразится невольно, даже против своей воли, выскажется со всеми взглядами, с своим характером, с степенью своего развития». Белов романа «Все впереди» — тот самый, каким он проявился в настойчивой последовательной борьбе против преступного «проекта века», — государственно мыслящий и граждански ответственный человек. И в эстетическом плане противопоставлять новый роман прежним сочинениям писателя нет никаких оснований.

Да, В. Белов очень разнообразен в своих произведениях, но, меняясь, он всегда остается самим собою. «Все произведения поэта, как бы они ни были разнообразны и по содержанию и по форме, имеют общую всем им физиономию, запечатлены только им свойственной особенностью, ибо все они истекли из одной личности, из единого и нераздельного я», — писал В. Г. Белинский. И эта цельность есть главный признак органичности художественного дарования.

Прежний Белов узнаваем в новом романе прежде всего по необходимой точности и выразительности языка. Буду это утверждать, хотя В. Лакшин и П. Ульяшов дружно уверяют в обратном. «Да им ли это написано? Не другое ли беспечное и слабое перо...», — изумляется В. Лакшин, иллюстрируя свое мнение цитатами из текста. Верно, можно найти в романе и другие «образцы» подобного рода, но их не так уж много: критику нелегко дался поиск «блох», иначе не стал бы он с прощай цитировать «плац (?) Пигаль» из несобственно-прямой речи (от имени профессора), — ведь тремя строчками выше в тексте встречается нормальное «площадь Пигаль», — не против ли себя оборачивается вопроша-

ющая прония Лакшина? «Сочной речью (следа которой нет и в помине во «Все впереди»)» восхищается Ульяшов в «Привычном деле», «Канунах», «Ладе»...

Оставьте, не поняли вы эстетической сущности языка Белова и в этих произведениях! Не «сермяжная» колоритность, не диалектизмы составляют главную определяющую особенность языка писателя Василия Белова. Подобные качества есть и в прозе Б. Можаяева, В. Маслова, В. Личутина и у других хороших писателей, присущи они в какой-то мере даже бесчисленным эпигонам. Исключительный лаконизм, стилистическая гибкость, в одной-двух фразах выявляющая множество оттенков, извлекающая дополнительные смысловые значения из самой связи слов и фраз,— вот эстетические особенности языка и стиля В. Белова. Сказывается школа Ивана Бунина — непревзойденного стилиста; и в новом произведении плотность языка такова, что приличествовала бы не только роману, но и рассказу.

Ни подробных описаний обстановки, ни развернутых внутренних монологов персонажей не позволяет себе, за редчайшими исключениями, В. Белов в романе «Все впереди» — точно так же, как в «Привычном деле» или «Канунах». Его художественная манера остается неизменной, но что же делать, если язык современного интеллигента беднее речи мужика-колхозника? Это разве что еще один повод говорить о дурном влиянии массовой культуры, но, полагаю, никому не надо объяснять взаимосвязь категорий формы и содержания? Писатель обязан пользоваться языком той среды, которую он изображает, иначе мы были бы вправе обвинять его в художественном несоответствии, в разладе формы и содержания.

Помню, как Виктор Астафьев, органично чуткий к слову и художественной ткани, говорил о «Канунах»: «Так в них все спрессовано — лезвие ножа некуда всунуть...».

Уверен, это качество увидел он и в романе «Все впереди», во всяком случае, безоговорочно поддержал положительную оценку нового произведения В. Белова молодым литератором В. Щелеговым, хотя я не думаю, что его мнение полностью выражает астафьевское понимание. Щелегов принимает роман Белова, но истолковывает его узко и односторонне, исходя из поэтики романа монологического типа. С удовлетворением принял я и признание романа «Все впереди» В. Распутиным, В. Личутиным, В. Крупиным — пусть выраженное

предельно кратко,— оценка этих мастеров прозы убедительнее многоречивых и уничижительных, но неаргументированных обличений критики. Не сомневаюсь, что оговорки, вполне правомерные, и у них найдутся, не в этом дело — важно взаимопонимание и признание.

Ну а что касается смысла названия «Все впереди»,— то зачем было бы читать весь роман, если бы заглавие прямо выражало его сущность?..

Тонкая ненавязчивая символика играет заметную роль в архитектонике романа В. Белова. Так, не раз упомянули критики бутылку виски «Белая лошадь» — приз в циничнейшем пари, а живую белую лошадь в туманном поле — забыли... В жизни горожан, ясно показывает В. Белов, есть как вульгарность, так и истинная поэзия — право выбора за тобой, читатель! Так обретает многозначный смысл название первой части романа и точно так же неоднозначно озаглавлена вторая — «Счастливое сиротство». Эпитет — в нем нет двусмысленности — с безоговорочной определенностью свидетельствует о положительных качествах Бриша, но кто возьмется всерьез утверждать, что сиротство способно дать счастье детям? — в контрастности взаимосвязанных слов воплотилась способность писателя отражать жизнь в ее диалектической противоречивости.

Точно так же и название романа, которое привело критиков в недоумение, просто и ясно: прав и П. Уляшов со своим (или Аллы Пугачевой?) «то ли еще будет?...»; правы и те, кто с надеждой прочитал — «Все впереди!» Выбор варианта будущего — за нами. Василий Белов и тут ничего не навязывает читателю: будущее в твоих руках, современник, и ты достоин такого исхода, какого хочешь или заслуживаешь сам.

*1987, март*